

лантливых продолжателей популистской традиции в сегодняшней французской литературе. В «Плодах зимы» достоинства популизма — доброе внимание к простым, неприметным людям, реалистическое воспроизведение их быта, повседневности — превалируют над слабостями: здесь нет идеализации прошлого, идеализации отсталого впе- историчного мышления обывателя, идеализации того психологического типа, который неотвратимо гибнет под натиском новых социальных отношений.

Образ отца Дюбуа в этом смысле большая удача писателя. Бернар Клавель с удивительным чувством меры, точно и объемно воспроизводит противоречивый сплав собственничества и трудолюбия, брюзгливого эгоизма и скрытой нежности, затверженных прописей и детской наивности. Дюбуа — человек той эпохи, когда хозяйчик и мастер уживаются в одном человеке, когда естественно слиты, нераздельны любовь к деньгам, к приобретению и любовь к труду, к добросовестно выполненной работе. Одно из самых светлых, самых гордых воспоминаний старика — день, когда он, уже давно ушедший на покой, по просьбе муниципалитета вновь взялся за свое прежнее дело и собственноручно выпек хлеба, чтоб накормить город, из которого сбежали все булочники. Он и сейчас обретает себя только в работе, когда обихаживает свой сад, пилит дрова в лесу. Но эта радость становится все недоступнее, силы иссякают.

Окончательно отторгает отца Дюбуа от внешнего мира смерть жены. Матушка Дюбуа, в противоположность замкнутому и сосредоточенному на себе старику, отличается душевной отзывчивостью, восприимчивостью. Именно эти ее качества — чувство, а не интеллект — делают ее открытой миру, сближают и с сыном, и с другими людьми, которым она всегда стремится помочь. Мать ходит к соседям слушать английское и швейцарское радио, она поступает после освобождения городка от оккупантов работать в школу поварихой, она сразу находит общий язык с Франсуазой. Смерть матери рвет последнее звено, связующее отца с людьми.

Он — некий осколок прошлого. Его одиночество, иссякание жизненной энергии, хотя и изображено без какого бы то ни было стремления к символизму, это в то же время гибель определенного социального уклада, определенного социального типа: ремесленника, мастерового, в котором еще едины и взаимообусловлены творческие и накопительские черты. Между стариком и его сыновьями, каждый из которых воспринял и продолжил одну из сторон этого единства — пропасть. И пропасть не случайная, а глубоко мотивированная историческим процессом. Клавель нигде не объясняет этой социальной подоплеки, но тем убедительнее проступает она в психологически верном портрете старика, в его отношениях с сыновьями.

«Плоды зимы» были удостоены в 1968 году Гонкуровской премии. Добрая, гуманная, исполненная подлинного знания жизни про-

за Бернара Клавеля, лишенная какой бы то ни было сенсационности, какого бы то ни было угождения моде, получила справедливое признание.

Л. ЗОНИНА

ШЛЯГЕР ПО-АМЕРИКАНСКИ

Henry Sutton. The Exhibitionist. New York, A Fawcett Crest Books, 1968.

Е начала — небольшое отступление в историю, впрочем, совсем близкую. В 1957 году Верховный суд США принял специальное постановление, уполномочившее издателей печатать ранее считавшиеся нецензурными выражения без прочерков и точек, а литераторов — описывать физиологию любви в полном соответствии с «правдой жизни». Порнография, если только она была облечена в беллетристическую форму, официально получила доступ на американский книжный рынок. В 1958 году сочинения отца американской порнографической словесности Генри Миллера, до этого выходившие в независимом парижском издательстве «Олимпия пресс» и доставлявшиеся в Америку на дне туристских чемоданов, были изданы солидными нью-йоркскими фирмами, и поклонники «Тропика Рака» и «Тропика Козерога» могли отныне смаковать эти шедевры непристойности, ни от кого не прячась.

Вслед за тем произошла «революция» в мире бестселлеров. Великий шлягер нашей эпохи «Лолита» Набокова, от которой за несколько лет до этого отказались все американские издательские компании и которая успела произвести фурор в Старом Свете, появилась и на книжных прилавках Нью-Йорка. Она выдержала за год два десятка изданий, была экранизирована, инсценирована и канонизирована как эталон «современного» романа для массового потребления: и для интеллектуала, который, дочитав книжку, мог поразмышлять насчет патологического характера цивилизации XX столетия, и для простого смертного — ему с избытком преподносились самые пикантные подробности.

Служба «массовой культуры» в США уже тогда была налажена слишком хорошо, чтобы столь заманчивый шанс сыграть на пробудившемся интересе к дотеле запретной материи остался неиспользованным. Не прошло и года со времени решения Верховного суда, как выяснилось, что пора уже принять другое постановление — прямо противоположного смысла. Оно, однако, принято не было, и в области американской культурной индустрии 60-е годы оказались временем интенсивного производства порнографических поделок.

Экраны были наводнены в экстремном порядке состряпанными фильмами, где актрисы появлялись в костюмах, лишь незначительно отличавшихся от одеяния

Евы. Журналы пестрели фотографиями звезд порнографических ревью и статьями, в красочных деталях живописующими падения нравов в средней школе.

Порнография преследовала рядового американца всюду: по телевидению, транслировавшему скандальные процессы над совратителями несовершеннолетних; в кафе, сделавших стриптиз большим бизнесом; в быту, куда она проникала на обертке от сигарет и рекламном объявлении аптекаря, брошенном в почтовый ящик.

Чем все это было вызвано? Серьезная американская литература быстро распознала истинные причины сопровождавшейся немислимой шумихой «интимной революции». В книге публицистики «Рекламирую сам себя», появившейся в 1959 году, Норман Мейлер с отвращением писал, что Америка превратилась «в страну, где чуть ли не весь быт построен на сексуальных символах», что «секс оказался в центре внимания нашей экономики».

К каким последствиям это привело, можно узнать из многих американских источников: из ежегодных отчетов о росте преступности на почве патологических отклонений, из статей социологов, обследовавших духовный мир подростков, из таких книг, как «Американская мечта» Мейлера или последний роман Джона Апдайка «Пары». После сенсационного успеха «Лолиты» по обе стороны Атлантики полки американских книжных магазинов уже десять лет гнутся под тяжестью все новых и новых образцов полупорнографической или чисто порнографической беллетристики. В лице Генри Саттона, чей первый роман «Эксгибиционистка» на протяжении 1968 года был самой читаемой и расхваливаемой книгой, эта беллетристика заявила о претензиях на лидирующее положение в американской литературе.

Что такое порнографический роман? Воспользуемся определением столь крупного авторитета в этой области, как Владимир Набоков. «В порнографическом романе,— читаем в послесловии к «Лолите» (которую Набоков, разумеется, порнографией не считает),— действие должно состоять в привычных читателю клише... Роман должен представлять собой последовательность сексуальных сцен. Все прочее необходимо свести к смысловым швам, к логическим переходам простейшей конструкции, кратким экспозициям и пояснениям; читатель эти эпизоды, вернее всего, пропустит, но пусть он знает, что они тоже существуют, иначе он, чего доброго, подумает, что его обжулили...»

Обратимся теперь к сочинению Генри Саттона, автора самой тиражной американской книги прошедшего года. Начинается она отнюдь не так, как можно было бы ожидать. Прежде чем мы доберемся до «сенсационных разоблачений международной киноэлиты», которые нам посулила аннотация, нам предстоит познакомиться с маленьким городком Спун Гэп в штате Монтана и в общих чертах представить себе генеалогическое древо героини.

Сама героиня, а с нею и «сенсационные разоблачения» появятся только через полторы сотни страниц — к чему торопить события, ведь закон порнографического крещендо для таких авторов, как Саттон, обязательен, да надо ведь и читателю дать возможность растянуть удовольствие, снабдить его «интеллектуальной» жвачкой хотя бы на два-три дня.

Итак, поначалу все как в добротном романе старого времени: глухая провинция, чувства высокие и нравы жестокие, старик фермер, без колебаний прикончивший проежженного рабочего по найму, который соблазнил его дочь. В результате этого события явился на свет Мерредит Хаусман, суперзвезда Бродвея и Голливуда, образец типично американского простосердечия, малость подпорченного царящим в кругах богемы развратом, он же отец пока что мирно сосущей соску и играющей в куклы Мерредит (сокращение Мерри) Хаусман-младшей, будущей «эксгибиционистки», которая в книге Саттона занята едва ли не исключительно тем, что разоблачается — и в прямом смысле слова, и фигурально.

Саттон прекрасно понимает, что сейчас уже не те времена, когда не составляло труда всучить читателю любой мусор, только бы автор побольше уделял внимания тем сторонам жизни человеческой, о которых серьезная литература всегда говорила скупо и строго. Занятно, конечно, почитать, как сорокалетняя школьная учительница под видом репетиций «Сирано де Бержерака» совращает своего ученика и как он потом, отбросив шпату, а заодно и прочие принадлежности туалета, преследует свою не первой молодости Еву, рассекая мужающей грудью гладь тихого лесного озера. Но сцен в таком роде полным-полно чуть ли не во всяком романе, выбрасываемом на массовый книжный рынок, и ими одними не проживешь. Чтобы добиться успеха, нужно, во-первых, описать такие «отклонения», каких еще никто не решался описывать, а во-вторых,— и это весьма немаловажно — замаскировать порнографическую макулатуру под серьезное произведение, отражающее какие-то действительные стороны жизни, проникнутое весьма высокими авторскими намерениями и чуть ли не «с тенденцией».

А в этом искусстве Саттон, надо признаться, понагорел изрядно. Ему-то, выпускнику Йельского университета, должно быть хорошо известно, чего стоит настоящая литература, и он вовсе не прочь «творчески» использовать сделанные ею открытия. Читая «Эксгибиционистку», то и дело ловишь себя на ассоциациях с произведениями, поднимавшими близкие темы задолго до Саттона и вовсе не ради скандальной шумихи,— то с «Сестрой Кэри», то с «Трамваем — «Желание». Вот эти-то «заимствования» и позволяют Саттону более или менее сносно организовать повествование, придать ему внешность серь-

езной книги. В самом деле, о том, как Голливуд растлевает молодые души, писалось немало, судьбы некоторых его звезд, например, Мерилин Монро, у всех в памяти. И рассказанная Саттоном история Мерри Хаусман, достигшей самых высоких ступеней голливудской иерархии ценой глубочайшего морального падения,—с первого взгляда эта история может сойти за правдивую и даже разоблачительную.

Однако Саттона, по сути, не интересуют ни Хаусман-старший, ни его дочь. Его интересует только одно: как бы повыгоднее сбыть свое детище, как бы втиснуть побольше в книгу тошнотворных подробностей и омерзительных в своей натуралистичности «любовных» сцен, ошеломив невзыскательного читателя совершенным цинизмом, раз уж не удастся привлечь его ничем иным.

И весь роман, если отвлечься от «смысловых швов», представляет собой сплошную непристойность, цепочку все более и более «густо» написанных порнографических эпизодов. Открывает эту серию «роман» Мерридита с учительницей. Далее следует история «любви» и разрыва (конечно, на сексуальной почве) между Хаусманом и матерью Мерри — Элейн. Последняя удаляется прожигать жизнь в притонах Мехико с неким Денвером Джеймсом, которому (в литературе подобного рода не так уж трудно предугадать развитие событий на несколько ходов вперед) в будущем суждено, разумеется, стать первым «кроковым мужчиной» — а их будет немало — на пути Мерри. Вниманию читателя тем временем предлагается длинная вереница любовниц и жен Хаусмана, одна из которых оказывается лесбиянкой, покушающейся на невинность своей падчерицы.

Между делом — но именно между делом — Хаусман снимается во всевозможных боевиках типа «Не упрямься, милашка!» и «Французская революция» («Картина получилась неплохая: в ней было масса драк, масса казней и масса любовных сцен»), а Мерри делает первые шаги на школьной сцене. С тем же успехом он мог бы играть на бирже, а она изучать молекулярную биологию, но ведь известно, что читатель страсть как любит байки из быта кинозвезд. А Саттон не из тех, кто забывает про вкусы читателя, разумеется, невзыскательного, испорченного бесчисленными поделками вроде «Эксгибиционистки».

Напротив, в его романе нет ни эпизода, который не был бы рассчитан на запросы такого читателя. Угодно чуточку мелодрамы? Пожалуйста: Саттон будет подробно расписывать, как одна из миссис Хаусман, не выдержав измены мужа, покончила с собой, предварительно попытав-

шись сама наставить ему рога. Избранник ее, однако, питал склонность исключительно к мальчикам. Саттон по этому поводу не постеснялся (нельзя же отстаивать от эпохи!) вспомнить освещенного «врача» Менгеле и как он «движением головы направо или налево определял, кому умирать, а кому жить»; умирать в данном случае выпало, понятно, обманутой жене и ее возлюбленному, а жить — Хаусману и счастливой сопернице.

Ну, а «сенсационные разоблачения»? И они есть. Взять хотя бы одну из кульминационных сцен в романе — массовый стриптиз с участием чуть ли не всех кинозвезд мира во время Венецианского кинофестиваля. Режут джаз-баны, танцуют обезьяны, отец спяну чуть не изнасиловал собственную дочь — это ли не обличение? Или афоризм одного саттоновского героя: «все актеры — эксгибиционисты»; не правда ли, очень глубокая, смелая мысль?

Только не надо принимать все это всерьез. Саттон и сам этого не хочет. По неписаным законам жанра, конец его романа чисто конформистский. «К двадцати годам перебежась», Мерри возвращается в уютный Спун Гэп, к милым, прекрасным людям, готовым простить грешницу и помочь ей вновь вкушать тихих радостей благоустроенного «простого» быта. И читатель, закрыв «Эксгибиционистку», наверняка не без тайного удовольствия подумает: вот ведь, бесятся люди, к чему-то там стремятся, сходят с ума, а между тем, как хорошо жить безмятежно и спокойно, в славеньком домике на тихой провинциальной улочке, ни к чему особенно не порываясь, потому что, если разобраться, и так уже все достигнуто. А ради этого и городил огород Саттон: сначала пощекотать читателя нервы, а потом успокоить его умилительной картиной мещанского рая.

И «Эксгибиционистку» пока что читают. Окрыленный успехом, Саттон в течение года успел состряпать второй опус на ту же тему — «Наблюдатель»; на Бродвее репетируется его пьеса под броским заглавием «Грех кардинала». Кое-кто из американских критиков уже готов признать в Саттоне новый «жестокий» талант.

Но подобных «talантов» история американской литературы знала великое множество. Спадал ажиотаж, и изготовленные ими шлягеры за ненадобностью выбрасывались на свалку. Такая судьба ждет и саттоновскую «Эксгибиционистку»; пройдет год-другой, и случайный читатель, стерев рукавом пыль с потускневшей обложки, с удивлением узнает, что некогда эта макулатура была «бестселлером, о котором говорят все».

А. ЗВЕРЕВ

